

Раздел 3.
ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ
В ИСТОРИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ И НАУКАХ О КУЛЬТУРЕ

Старая проблема: история и литература: сходства и различия*

Сыров В.Н., Томск

д. филос. н., профессор, зав. кафедрой
онтологии, теории познания социальной философии,
Томский государственный университет

В статье обсуждается проблема соотношения истории и литературы. Утверждается, что тезис об их сходстве обусловлен не наличием реального сходства, а эпистемологией эмпиризма. Обсуждается недавняя актуализация данной темы в работах Х. Уайта. Утверждается, что отказ от позитивистской концепции факта и смена нарративных форматов могут способствовать решению проблемы.

Ключевые слова: история, литература, эпистемология, эмпиризм, Х. Уайт.

V.N. Syrov, Tomsk

Old problem: history and literature: similarities and differences

This paper discusses the problem of the relationship between history and literature. It is argued that the idea of their similarity is determined not by real similarities, but by the epistemology of empiricism. The recent actualization of this topic in the writings of H. White is discussed. It is argued that the rejection of the positivist concept of fact and the change of narrative formats can help solve this problem.

Keywords: history, literature, epistemology, empiricism, H. White.

Как известно оценка соотношения истории и литературы, на многие века ставшая канонической, была сделала еще Аристотелем в знаменитой «Поэтике»: «Ибо историк и поэт различаются не тем, что один пишет стихами, а другой – прозой, – нет, различаются они тем, что один говорит о том, что было, а другой – о том, что могло бы быть. Поэтому поэзия философичнее и серьезнее истории, ибо поэзия больше говорит об общем, история – о единичном. Общее есть то, что по необходимости или вероятности такому-то [характеру] подобает говорить или делать то-то; это и стремится [показать] поэзия, давая [героям вымышленные] имена. А единичное – это, например, что сделал или претерпел Алкивиад»

* Работа подготовлена при поддержке гранта РФФИ проект № 18-511-00001 «Моральная составляющая исторической рефлексии и коммеморативных практик исторической культуры».

[1, с. 655]. На первый взгляд, данный тезис кажется очевидным. Действительно, если считать, что история должна описывать, как обстояли дела на самом деле, то ей приходится перемежать случайное с необходимым и перечислять события, которые чем далее уходят в глубь времен, тем более утрачивают связь с нуждами современности, а значит не могут ни поучать, ни развлекать.

Классическими рассуждениями, предпринятыми в направлении поиска демаркационной линии между двумя типами повествований, стали размышления Коллингвуда. Критика позитивистского подхода к истории, метко охарактеризованного им «историей ножниц и клея», подталкивала английского мыслителя к определению места и роли воображения в историческом познании. Как известно, Коллингвуд полагал, что функция такого воображения является конструктивной, а не орнаментальной. Суть его в том, чтобы создать «некую сеть, сконструированную в воображении, сеть, натянутую между определенными зафиксированными точками – предоставленными в его распоряжении свидетельствами источников» [2, с. 231]. При этом он подчеркивал, в противовес позитивистской догме о фактах как кирпичиках познания, что «все эти якобы закрепленные точки, которые историческое воображение связывает своей сетью, не даны нам в готовой форме, но являются результатом критического мышления» [2, с. 231]. Но в итоге парадоксальным образом предложенная им картина деятельности историка возрождала опасное сходство с художественным повествованием, а потому выдвигаемые критерии различий [2, с. 234-235] стали объектом обоснованной критики.

На этом пути Хайден Уайт осуществил радикальный шаг, предложив, наоборот, оттолкнуться от идеи сходства и попытаться извлечь из нее продуктивные следствия. Как отмечал Питер Берк, «наиболее существенный элемент «Метаистории» заключается, конечно, в трактовке исторических текстов как литературных артефактов и подчеркивании риторических аспектов исторического письма» [4, р. 437]. В упрощенной форме основная мысль Уайта заключалась в следующем тезисе: «Какую конфигурацию придать данной исторической ситуации будет зависеть от утонченности историка в сочетании специфической сюжетной структуры со списком исторических событий с целью осмыслить их особым образом. По существу, это есть литература, т.е., так сказать, операция по созданию фикции» [8, р. 48]. Как неоднократно подчеркивал американский мыслитель, историческим ситуациям самим по себе не присуще трагическое или комическое начало. Но, с другой стороны, не «данность списка событий, удостоверенных историческими свидетельствами, конституирует целостность и завершенность повествования. Это истинно как в отношении событий, которые конституируют жизнь индивида, так и событий, конституирующих жизнь институтов, нации или целого народа» [8, р. 43]. Поэтому разрозненные данные или списки событий становятся историей только посредством специфической процедуры, которая сознательно или бессознательно осуществляется историком и была обозначена Уайтом как процедура осюжечивания [emplotment]. Иначе говоря, именно на долю историка выпадает задача организовать, распределить, связать выделенную совокупность событий или «фактов», но делает он это, только придавая их совокупности облик повествования с началом, кульминацией и фина-

лом. При этом все возможные сюжеты строятся на основе таких четырех «архетипических сюжетных структур», как Роман, Трагедия, Комедия и Сатира.

Если это так, то, с одной стороны, вымысел становится имманентной, неустранимой и неизбежной составляющей исторических текстов, а, с другой стороны, причастность данных архетипических структур реалистическому повествовательному модусу обеспечивает приемлемость данной продукции как исторической. Позже Уайт признавал, что ошибался, трактуя «факты» и «вымысел» как две самостоятельные субстанции, что исторический дискурс на всех уровнях от источников до исследовательских текстов уже загружен коннотациями, «над которыми говорящие и пишущие не имеют контроля» [10, р. 20]. В итоге он полагал, что, если бы историки были в состоянии определять вымышленный элемент в своих нарративах, такое «опознание служило бы потенциальным противоядием тенденции историков становиться пленниками идеологических предрассудков, которые они не только не распознают как таковые, но и гордятся ими как «адекватным» восприятием «вещей самих по себе» [8, р. 61].

Бесспорно, что идеи Уайта внесли свой весомый вклад в разрушение позитивистских догм, сохранявшихся в историческом познании. Как отметил Алан Манслоу, к нынешнему времени, мы можем считать неоспоримыми утверждения о столь глубокой степени укорененности философских или идеологических предпосылок в любом историческом нарративе, что никакая степень рефлексивности исторического сознания не может их устранить [7, р. 74-75]. Мы можем также утверждать, что все нарративные предложения формируются риторическими и языковыми, а также прочими культурными конвенциями и ограничениями в целом причем на столь же глубинном уровне [7, р. 75]. Однако столь же очевидно, что на пути, предложенном Уайтом, истории не обрести искомой автономии. Не поможет и декларируемое им повышение степени рефлексивности, проявляющееся в отчетливом осознании места и функций вымысла в историческом познании.

Нет нужды отрицать, что предложенный им подход способствует освобождению общественного сознания от власти мифов, навешанных или прямо сформированных исторической традицией. Но это только начало пути. Ведь если свобода творческой мысли исследователя ограничена вращением в кольце литературных жанров, вне зависимости от степени их новизны и оригинальности, история обречена оставаться лишь опасной разновидностью литературы. Поэтому правомерны неоднократные упреки Уайту в недооценке операций, присущих истории как исследовательской дисциплине, а именно действий по созданию гипотез и верификации результатов [4, р. 441], в том, что в предложенной американским мыслителем трактовке, истории становятся столь же несоизмеримыми, сколь и романы [5, р. 28].

Более того. Можно утверждать, что данные формы конституирования истории с неизбежностью будут обречены выполнять в культуре только идеологические или эскапистские/терапевтические функции. И, наоборот, подобные представления о соотношении вымышленного и реального заставляют подыскивать для исторических повествований место для реализации именно таких функций,

поскольку только здесь они хоть в чем-то могут нейтрализовать влияние столь неизбежного вымысла. Поэтому, как справедливо отметил Доминик Ла Капра, когда «элементарное различие между историей и романом разрушается, появляется миф» [6, p. 129].

Для определения природы таких различий стоит обратиться к экспликации генеалогии самой идеи сходства истории и литературы. Речь идет о выявлении философских оснований, провоцировавших философскую и научную мысль двигаться именно в данном направлении. Основной наш тезис заключается в утверждении, что источник стирания граней между историей и литературой лежит не в их действительном сходстве, не в имманентно присущих исторической мысли чертах, а в сохраняющейся концепции создания исторического знания и теории познания, лежащей в ее основе. Эта эпистемология строилась на убеждении сенсуалистов (эмпиристов) в существовании некоторых элементарных, далее неделимых единиц, непосредственно данных в опыте. Данная установка неизбежно порождала оппозицию, в рамках которой была обречена метаться исследовательская мысль. Суть в том, что если опыт становится знанием лишь посредством установления связей, в самом опыте не присутствующих, то в самом схематичном виде они возможны лишь в ходе фиксации повторяемостей (обобщения как основания естественнонаучного знания) либо в виде повествовательной нарративности, осюжеченной посредством тех или иных жанров (по сути, вымысла). Отсюда формирование соответствующего стереотипа, каким может и должно быть надежное знание (наука), выработка соответствующего стиля мысли, предполагающего господство индуктивного метода, и надлежащего языка описания и интерпретации, оперирующего понятиями базисными понятиями, такими как «факт» и «теория».

В исторической мысли эта программа выразилась в убеждении, что история – это, в сущности, сумма фактов (или должна таковой быть), которые надлежит не столько доказать, сколько связно рассказать. Очевидно, что при таком подходе всякий выход за пределы хронологической связи грозил стереть и без того хрупкую грань (хрупкость, порожденную данной эпистемологией) между истинной и вымыслом. Как частное следствие отсюда, общая бескрылость историописания, боязнь оригинальных идей и контрабандное проведение их в трудах историков. Если это так, то ход, стиль мысли и выводы американского мыслителя вполне понятны и оправданы.

Как справедливо отметил Манслоу, хотя большинство историков не стали бы утверждать, что исторический метод является научным, но они убеждены, что метод сохраняет требование рациональности и объективности в контакте с потенциально понимаемым, каузально анализируемым и претендующим на истину прошлым. «Утверждать иначе – просто перестать быть историком» [7, p. 63]. Бесспорно также, как отметил в свое время Уайт, «собственно истории не может быть без допущения полноценной метаистории, посредством которой получают оправдание те репрезентативные стратегии, что необходимы для представления данного сегмента исторического процесса» [9, p. 52]. Но столь же бесспорно, что обеспечение (сопровождающееся, правда, неизбежной переинтер-

претацией) этих положений требует разрушения или смены классической теории познания в целом.

Направление этой смены, прежде всего, стоит связать с атакой на позитивистскую концепцию факта, которая выразилась в постепенном закреплении в исследовательском сообществе убеждения о теоретической нагруженности факта. Применительно к историческому познанию это утверждение означает, что такой факт создается из совокупности источников, свидетельств, «следов», а процедура его создания предполагает одновременное применение операций связывания свидетельств в целое и их интерпретации. Поэтому средством его (или их) создания, а соответственно актом, так сказать, логически первичным, будет являться не столько работа памяти или методы анализа сохранившихся свидетельств, сколько деятельность воображения. Принципиальная задача такого воображения заключается в производстве идеи, которая, говоря языком Канта, носит конститутивный характер по отношению к фактам, т.е. создает их, и регулятивный характер по отношению к источникам, т.е. отбирает их, отделяя существенное от несущественного.

Если это так, то, в частности, утрачивает свой смысл разделение на процедуры создания факта и их синтеза, описания и интерпретации. Скорее на всех этапах исторического исследования следует мыслить применение одной и той же вышеописанной операции. Разница будет заключаться только в масштабе поставленных вопросов и выдвигаемых в качестве ответов идей. Более того, в рамках такого подхода можно утверждать, что исторический факт становится не предпосылкой или фундаментом, а результатом или продуктом исследования. Говоря иначе, факт – это интерпретация, пока не поставленная под вопрос научным сообществом. Как хорошо заметил по этому поводу Бруно Латур, «факты становятся независимыми от действий ученых именно потому, что ученые работают и работают хорошо» [3, с. 375]. По этой же причине становится бессмысленным утверждение о т.н. несущественных фактах. Более того, кажется очевидным, что смена эпистемологических установок подразумевает также смену языка описания процедур, осуществляемых сообществом исследователей. Стоит утверждать, что оперирование терминологией и различениями типа «факты/теории», «описание/синтез», «описание/интерпретация», «фиктивное/фактуальное» не столько проясняет, сколько затемняет природу тех познавательных действий, которые осуществляет историк.

Однако предпринятый выше шаг следует считать только половиной дела. Стоит согласиться с убеждением многих современных теоретиков о необходимости нарративной формы подачи и восприятия истории. Но вопрос в том, что она собой будет и должна представлять. Пока история форматируется в виде повествования, а не исследования, пока исторический текст строится как повествование от третьего лица и подается в виде совокупности утверждений или положений, которые кажутся само собой разумеющимися и потому предполагают их развертывание и иллюстрацию, а не выведение и доказывание, пока доказательная база, как правило, сводится к избытию ссылок, желательного подстрочных, а убедительность повествования достигается тщательной маскировкой субъекта

высказывания, все новации, предлагаемые постклассической эпистемологией, только углубляют тезис Уайта о степени проникновения вымышленного элемента в построения историков. Здесь не поможет тезис о необходимости учитывать наличие и необходимость в историческом нарративе критических и аргументативных процедур. Пока они подаются как вставки в повествовательную ткань текста, то остаются инородным телом в данной конфигурации.

Это обстоятельство означает необходимость радикальной реконфигурации исторического нарратива. Наш тезис заключается в том, что он должен конституироваться не объектом исследования, а характером исследовательских задач. Исследование же имеет смысл и становится таковым только тогда, когда строится вокруг выдвигаемой гипотезы (что предполагает, кстати, предварительный критический анализ историографии по данному вопросу) и последовательности развертывания процедур ее доказательства (что, кстати, также требует умения выстроить надлежащую композицию текста). Поэтому, строго говоря, то, что выше именовалось идеей, следует определять как гипотезу, а всевозможный эмпирический материал – как основание для доказательств и опровержений. При этом, конечно, сохраняют и даже обретают еще большую глубину рассуждения Коллингвуда о статусе источников. «Мы знаем, что истина обретается не в результате проглатывания того, что говорят нам источники, а благодаря их критике» [2, с. 232]. Поэтому, «даже если он [историк] примет то, что его источники сообщают ему, он примет это, полагаясь не на их авторитетность, а основываясь на собственном суждении, не потому, что они утверждают это, а потому, что их утверждения соответствуют его критерию исторической истины [2, с. 227]. Иначе говоря, сам по себе источник ничего не доказывает и не опровергает. Доказательством становится вся историческая картина в целом, причем созданная не отдельным историком, а их сообществом в ходе многократных дискуссий и споров. Ну и наконец, путеводной звездой остается тезис Коллингвуда о том, что «по этой же самой причине в истории, как и во всех серьезных предметах, никакой результат не является окончательным [2, с. 237].

Примечательно то, что структура, складывающаяся из постановки проблемы, гипотезы и аргументации, вполне может быть представлена как нарративная. Если мы сохраняем убеждение в нарративной природе истории, то она его должна задаваться не объектом, а форматом, в который может быть упакован любой объект без ущерба для его идентичности. Тогда наличие темпоральной организации и таких ее структурных элементов как начало-середина-финал сохраняет свое значение, только конституироваться они будут не хронологией, а логикой постановки и решения задачи. Функцию экспозиции может взять на себя историографический обзор; функцию завязки, а видимо и интриги – демонстрация ограниченности и неполноты взглядов предшественников; функцию кульминации – авторская гипотеза; ну а функцию развязки – экспликация серии аргументов с целью ее верификации. Нетрудно заметить, что такая композиция с неизбежностью будет задавать место и формы позиционирования нарратора. Если автор отвечает за сказанное, а ответственность за прямо выдвигаемую гипотезу невозможно возложить на имплицитного рассказчика, то характер присут-

ствия его в тексте становится следствием рефлексивной позиции автора. Автор становится тождественным с нарратором, а такой нарратор с необходимостью должен быть эксплицитным и говорить от первого лица. Наконец, тогда он станет необходимой частью истории, поскольку говорить будет скорее о своей деятельности, а не о далеком мире прошлого.

Рискнем утверждать, что в так поданной истории нет ни грани сходства с литературой. Литературные жанры утрачивают свое конститутивное значение для такого способа исторического письма. Как справедливо отметил Лайонел Госсман, «создание и переописание историй больше не является, по большей части, вопросом адаптации довольно хорошо сложившейся сюжетной линии к новому языку или риторике или даже новой их интерпретации, «осюжечивании» их иным образом и, тем самым, выражении через них идеологии или видения мира в целом» [5, р. 56]. Поэтому «работа современного историка уже не является уединенной деятельностью, где посредством воображения создается нарратив, чтобы передать определенное видение и определенные ценности, с уплатой при этом своеобразного ритуального уважения к «конвенциям» историографического письма (например, проверка доказательств, и тому подобное) [5, р. 54].

Нет, конечно, нужды отрицать глубины проникновения в толщу исторического письма идеологических или мировоззренческих установок эпохи, класса, группы и т.д. Но в этом оно ничем не отличается от естественных и остальных социально-гуманитарных наук. Настолько, насколько историческое знание оккупирется мифами, спасением остается только последовательная и бесконечная критика. Там же, где культура пока не может провести демаркационную линию между знанием и идеологией (или мифом), нет нужды и в обсуждении. Кроме того, как верно заметил Госсман, «разоблачение идеологически нагруженных допущений, политических и экономических ценностей не эквивалентно полаганию таких предположений и ценностей как целиком иррациональных» [5, р. 51]. Поэтому использование фигуративного, а не технического, языка в историческом письме (от источников до продуктов) следует считать не столько недостатком, сколько его преимуществом, поскольку именно его применение делает сообщение о прошлом ценностно-значимым и просто осмысленным. Ну и наконец, описание природы познавательной деятельности в терминах соотношения фактуального и вымышленного следует считать весьма неудачным выбором языка описания. Полагать нечто вымыслом значит уже выносить вердикт по поводу статуса данного объекта. Поэтому правомернее говорить о работе воображения. Но и в этом историческое знание ничем не отличается от других форм знания и познания. Если это так, то воображение – это не отклонение от т.н. «реальности», а скорее необходимое условие ее создания.

Берк вполне правомерно заметил по поводу идей Уайта, что они «столкнулись с большим сопротивлением со стороны сообщества историков» [4, р. 444]. То же самое можно сказать по поводу постмодернистских и конструктивистских подходов к историческому познанию. Но это обстоятельство не отменяет значения тех революционных преобразований, которые произошли в философии с 20 века и их эвристического потенциала для исторической и обществен-

ной мысли в целом. Задача заключается в том, чтобы обеспечить площадку для продолжения и развития конструктивного диалога, для чего обеим сторонам (философам и историкам) следует отказаться от клановой замкнутости (этой оборотной стороны развития знания) и выработать форматы представления своих идей, конституированные структурой взаимной коммуникации.

Литература

1. Аристотель. Поэтика // Аристотель. Сочинения в четырех томах. М.: Мысль, 1984. Т. 4. С. 645-681
2. Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М.: Наука, 1980. С. 5-320.
3. Латур Б. Надежды конструктивизма // Социология вещей. Сборник статей / под ред. В. Вахштайна. М.: Территория будущего, 2006. С. 365-389.
4. Burke P. Metahistory: before and after // Rethinking History. The Journal of Theory and Practice. Vol.17. № 4. 2013. P. 437-447.
5. Gossman L. Towards a Rational Historiography Source: Transactions of the American Philosophical Society. New Series. Vol. 79. №. 3. 1989. P. 1-68.
6. La Capra D. History & Criticism. Cornell Univ. Press, 1985. 145 p.
7. Munslow A. Deconstructing History. Routledge, 2006. 248 p.
8. White H. Historical Text as Literary Artifact // The Writing of History. Literary Form and Historical Understanding / ed. by R. H. Canary and H. Kozicki. The Univ. of Wisconsin Press, 1978. P. 41-62.
9. White H. Tropics of Discourse. Essay in Cultural Criticism. John Hopkins Univ. Press, 1978. 287 p.
10. White H. The Practical Past. Northwestern Univ. Press, 2014. 118 p.

Герменевтическая модель в философии истории: достижения и пределы

Нехамкин В.А., Москва

д. филос. н., профессор кафедры философии,
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

В работе сделана попытка реконструкции герменевтической модели в философии истории. Показано место данной модели среди иных аналогичных теоретических конструкций в историософии. Выделены базовые положения герменевтической модели в философии истории. Выявлено, что в идеале подобная модель интегрирует текст и породивший ее исторический контекст, а не противопоставляет их.

Ключевые слова: история, модель, философия истории, герменевтика, герменевтическая модель в философии истории.

V.A. Nekhamkin, Moscow